

КУНДЕРА

НЕВЕДЕНИЕ



МИЛАН

КУНДЕРА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИНОСТРАНКА»

Милан Кундера

Неведение

Серия «Большой роман»

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68532848
Неведение: Иностранка; Москва; 2022
ISBN 978-5-389-22236-6

Аннотация

Возвращение – один из основных сюжетов мировой литературы, и всякая одиссея развивается предсказуемо... Впрочем, не всегда. Герои романа одного из крупнейших писателей современности Милана Кундера «Неведение» возвращаются в Чехию после эмиграции – после многих лет тягот, счастья, потерь, компромиссов, новых переживаний и воспоминаний, которые непостижимы и не интересны никому на родине. Как работает память? Из чего строятся надежды? Что такое подлинная честность? Кто возвращается к Пенелопе и знает ли она человека, который к ней вернулся? Те, кто уехал; те, кто повстречался им в пути; те, кто остался, – Кундера вглядывается в человеческие судьбы с беспрецедентной пронизательностью и талантом к сочувственному пониманию.

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| 1 | 5 |
| 2 | 7 |
| 3 | 11 |
| 4 | 16 |
| 5 | 18 |
| 6 | 22 |
| 7 | 26 |
| 8 | 29 |
| 9 | 32 |
| 10 | 34 |
| 11 | 37 |
| 12 | 43 |
| 13 | 46 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 48 |

Милан Кундера

Неведение

Milan Kundera

L'IGNORANCE

Copyright © 2000, Milan Kundera

© Н. М. Шульгина (наследник), перевод, 2004

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022

Издательство Иностранка®

1

– Что ты здесь еще делаешь! – Ее голос не был злым, но и любезным не был; Сильвия досадовала.

– А где прикажешь мне быть? – спросила Ирена.

– У себя!

– Ты хочешь сказать, что здесь я больше не у себя?

Разумеется, Сильвия не собиралась выдворять Ирену из Франции или намекать, что она нежеланная чужестранка: – Ты же понимаешь, что я хотела сказать!

– Конечно, понимаю, но разве ты забыла, что здесь у меня работа? квартира? дети?

– Послушай, я знаю Густава. Он сделает все, чтобы ты могла вернуться на родину. А что касается твоих дочерей, оставь эти небылицы! У них своя жизнь! Бог мой, Ирена, ведь то, что творится у вас, просто ошеломляет! В такие времена дела всегда утрясаются сами собой.

– И все же, Сильвия! Речь не только о делах практических, о работе, квартире. Я живу здесь уже двадцать лет. Здесь вся моя жизнь!

– У вас революция! – Она произнесла это голосом, исключаящим возражения. Потом умолкла. Своим молчанием она хотела дать понять Ирене, что в пору великих потрясений непозволительно стоять в стороне.

– Но если я вернусь на родину, мы уже никогда не уви-

димся, – сказала Ирена, пытаюсь пронять подругу.

Эта сентиментальная демагогия не принесла особых плодов. Голос Сильвии потеплел: – Дорогая, я приеду повидаться с тобой! Это я обещаю, обещаю!

Они сидели друг против друга, перед ними – две давно опустевшие кофейные чашки. Сильвия наклонилась и сжала подруге руку, в ее глазах Ирена увидела слезы волнения: – Это будет твое великое возвращение. – И повторила: – Твое великое возвращение.

Эти дважды сказанные слова обрели такую силу, что мысленным взором Ирена увидела их написанными с заглавных букв: Великое Возвращение. Она перестала упираться, захваченная внезапно нахлынувшими образами давно прочитанных книг, фильмов, собственной памяти и, возможно, памяти предков: пропавший сын, вновь обретающий свою старую мать; мужчина, возвращающийся к своей возлюбленной, с которой когда-то разлучил его неумолимый рок; отчий дом, чей образ живет в каждом из нас; вновь обнаруженная тропка, хранящая следы утерянных шагов детства; Одиссей, вновь озирающий свой остров после долгих лет блужданий; возвращение, возвращение, великая магия возвращения.

2

Возвращение по-гречески *nostos*. *Algos* означает страдание. Стало быть, ностальгия – это страдание, причиненное неутолимой жадью возвращения. Для выражения этого исконного понятия большинство европейцев могут использовать слово греческого происхождения (*nostalgie, nostalgia*), равно как и слова, корни которых взяты из национального языка: *añoranza*, говорят испанцы; *saudade*, говорят португальцы. В каждом языке эти слова имеют свой семантический оттенок. Часто они означают только печаль, вызванную невозможностью возвращения на родину. Тоска по родине. Тоска по своему дому. То, что по-английски звучит: *homesickness*. Или по-немецки: *Heimweh*. Но это пространственное сужение великого понятия. Один из самых древних европейских языков, исландский, четко различает два термина: *söknudur*: ностальгия в ее обобщенном значении; и *heimfra*: тоска по родине. Чехи наряду с греческим словом *nostalgie* используют для выражения этого понятия собственное существительное, *stesk*, и собственный глагол; самая трепетная чешская фраза любви: *stýská se mi po tobě*: я тоскую по тебе; твое отсутствие для меня невыносимо. Испанское *añoranza* – производное от глагола *añorar* (испытывать ностальгию) восходит к каталонскому *enyorar*, что в свою очередь ведет начало от латинского *ignorare* (не знать, быть в

неведении). В таком этимологическом освещении ностальгия предстает как страдание от неведения. Ты далеко, и я не знаю, что с тобой. Моя страна далеко, и я не знаю, что там происходит.

Еще на заре античной греческой культуры родилась «Одиссея», основополагающая эпопея ностальгии. Подчеркнем: Одиссей, величайший искатель приключений всех времен, есть и величайший ностальгик. Он отправился (без особого удовольствия) на Троянскую войну и провел там десять лет. Затем поспешил вернуться в родную Итаку, но интриги богов растянули его плавание на три года, насыщенных самыми фантастическими происшествиями, а там еще на семь лет, которые он провел заложником и любовником богини Калипсо, влюбленной в него и оттого не позволявшей ему покинуть ее остров.

В пятой песне Одиссей говорит ей: «Я знаю, Пенелопа при всей своей мудрости в сравнении с тобой теряет величие и красоту... И все же единственный обет, который я каждодневно возлагаю на себя, это вернуться туда, пережить день возвращения в родном доме». И Гомер продолжает: «Пока Одиссей говорил, солнце закатилось; настали сумерки: они прошли под сводом в глубину пещеры и, заключив друг друга в объятия, отдались любви».

В жизни бедной эмигрантки, какой давно стала Ирена, ничего подобного не случилось. Одиссей прожил у Калипсо поистине *dolce vita*, жизнь в удовольствиях, жизнь в ра-

достях. И все же, выбирая между *dolce vita* на чужбине и рискованным возвращением домой, он предпочел возвращение. Страстному постижению неведомого (приключению) он предпочел апофеоз ведомого (возвращение). Бесконечному (ибо приключение никогда не мыслится законченным) он предпочел конечное (ибо возвращение есть примирение с конечностью жизни).

Не разбудив Одиссея, феакийские мореходцы перенесли его на покрытом простыней ковре на берег Итаки, под сень оливкового дерева, и отплыли. Таков был конец путешествия. Обессиленный, он долго спал. А пробудившись, не знал, где находится. Потом Афина отвела туман с его глаз, и настал пьянящий восторг; восторг Великого Возвращения; экстаз узнавания; музыка, всколыхнувшая воздух меж землею и небом: он видел пристань, знакомую с детства, нависшую над ней гору и погладил старое оливковое дерево, дабы убедиться, что оно осталось таким же, каким было двадцать лет назад.

В 1950 году, семнадцать лет спустя после переезда Арнольда Шёнберга в Америку, один журналист задал ему ряд коварно наивных вопросов: правда ли, что эмиграция лишает художников творческой силы? И что вдохновение усыхает, как только корни родины перестают его питать?

Подумать только! Пять лет спустя после Холокоста! И американский журналист не может простить Шёнбергу, что он не испытывает привязанности к той части земли, где на

его глазах наступала пора ужаса ужасов! Но делать нечего. Гомер увенчал ностальгию лаврами и тем самым предопределил нравственную иерархию чувств. Пенелопа стоит в ней на самой вершине, гораздо выше, чем Калипсо.

Калипсо, ах, Калипсо! Я часто думаю о ней. Она любила Одиссея. Они прожили вместе семь лет. Никому не ведомо, сколько времени Одиссей делил ложе с Пенелопой, но наверняка не так долго. Тем не менее страдания Пенелопы превозносятся, а над слезами Калипсо глумятся.

3

Великие даты, словно удары топора, помечают европейское двадцатое столетие глубокими зарубками. Первая война 1914 года, вторая, затем третья, самая продолжительная, названная холодной, завершившаяся в 1989 году падением коммунизма. Помимо этих великих дат, затрагивающих всю Европу, даты менее значимые определяют судьбы отдельных наций: 1936 год – гражданская война в Испании; 1956 год – русское вторжение в Венгрию; 1948 год, когда югославы взбунтовались против Сталина, и 1991-й, когда они стали убивать друг друга. Скандинавы, голландцы, англичане пользовались привилегией не ведать ни одной важной даты после 1945 года, что позволило им прожить сладостно ничтожную половину столетия.

История чехов в этом столетии озарена замечательной математической красотой благодаря тройному повторению числа двадцать. В 1918 году они обрели, по прошествии многих веков, независимое государство, а в 1938-м потеряли его.

В 1948 году коммунистическая революция, импортированная из Москвы, террором проложила путь очередному двадцатилетию, завершившемуся в 1968-м, когда русские, разъяренные дерзким раскрепощением чехов, наводнили страну полумиллионом солдат.

Оккупационная власть прочно утвердилась к осени 1969-

го, а осенью 1989-го тихо, вежливо, неожиданно для всех, сошла со сцены, как и все остальные коммунистические режимы Европы: третье двадцатилетие.

Только в нашем столетии исторические даты с такой ненасытностью овладевали жизнью каждого из нас. И невозможно понять жизнь Ирены во Франции, предварительно не осмыслив эти даты. В 50–60-е годы эмигрант из коммунистических стран не вызывал особого сочувствия; французы в ту пору истинным злом считали исключительно фашизм: Гитлера, Муссолини, Испанию Франко, латиноамериканские диктатуры. Лишь постепенно, к концу 60-х и на протяжении 70-х годов до них стало доходить, что и коммунизм зло, хотя зло низшего разряда, зло, так сказать, номер два. Именно в это время, в 1969 году, Ирена и ее муж эмигрировали во Францию. Они быстро осознали, что, по сравнению со злом номер один, катастрофа, постигшая их родину, была не столь кровавой, чтобы впечатлить новых друзей. Стремясь объяснить, они, как правило, говорили примерно следующее:

«Какой бы чудовищной ни была фашистская диктатура, она исчезнет вместе со своим диктатором, так что люди могут лелеять надежду. Напротив, коммунизм, вскормленный безбрежной российской цивилизацией, остается для Польши, для Венгрии (не говоря уж об Эстонии!) тоннелем, из которого нет выхода. Диктаторы смертны, Россия вечна. Именно в полном отсутствии надежды и заключается несчастье тех стран, откуда мы приезжаем».

Они именно так выражали свою мысль, и Ирена, дабы подкрепить ее, приводила строфу из Яна Скацела, чешского поэта той поры: он говорит об окружающей его печали; ему хотелось бы объять ее, эту печаль, унести далеко, выстроить из нее дом, ему хотелось бы на триста лет запереться в нем и целых триста лет не открывать дверей, никому не открывать дверей!

Триста лет? Скацел написал эти строки в семидесятые годы и умер осенью 1989-го, за несколько дней до того, как трехсотлетняя печаль, которую он видел перед собой, рассеялась в одночасье: люди запрудили пражские улицы, и связи ключей в их воздетых руках вызвонили приход новых времен.

Ошибался ли Скацел, говоря о трехсотлетию? Конечно да. Все предсказания ошибочны, такова одна из немногих достоверных истин, данных человеку. Но хотя они и ошибочны, они выражают правду о тех, кто их изрекает, не об их будущем, а об их настоящем. В годы, названные мною первым двадцатилетием (между 1918-м и 1938-м), чехи полагали, что у их республики впереди бесконечность. Они ошибались, но именно потому, что они ошибались, они прожили эти годы в радости, приведшей к такому расцвету искусств, какой дотоле был им неведом.

После русского вторжения, не допуская ни малейшей мысли о близком падении коммунизма, они вновь увидели себя в пределах бесконечности, и не страдания реальной

жизни, а безысходность будущего подточила их силы, подавила их смелость и сделала это третье двадцатилетие столь малодушным, столь жалким.

Убежденный, что своей двенадцатитоновой системой он открыл дальнейшие перспективы истории музыки, Арнольд Шёнберг в 1921 году утверждал: благодаря ему превосходство (он не сказал «слава», он сказал «Vorherrschaft», «превосходство») немецкой музыки (уроженец Вены, он не сказал «австрийской», он сказал «немецкой») будет обеспечено на ближайшее столетие (я цитирую точно, он говорил о «столетии»). Двенадцать лет спустя после этого пророчества, в 1933 году, он как еврей был изгнан из пределов Германии (той самой Германии, которой собирался обеспечить ее «Vorherrschaft»), и вместе с ним вся музыка, основанная на двенадцатитоновой системе (осужденная как недоступная, элитарная, космополитическая и враждебная немецкому духу).

Предсказание Шёнберга, каким бы ошибочным оно ни было, остается, однако, непреложным для того, кто хочет постичь смысл его творчества, сознающего себя не разрушительным, недоступным для понимания, космополитическим, индивидуалистичным, сложным, абстрактным, но глубоко укорененным в «немецкой почве» (да, он говорил о «немецкой почве»); Шёнберг полагал, что он на пути к созданию не завораживающего эпилога истории великой европейской музыки (а именно так я склонен понимать его

творчество), но пролога славного будущего, теряющегося в необозримой дали.

4

С первых же недель эмиграции Ирена видела странные сны: она в самолете, который меняет направление и совершает посадку на неведомом аэродроме; вооруженные люди в униформе ждут ее у подножия трапа; холодный пот проступает у нее на лбу, она узнает чешских полицейских. В другом сне она бродит по маленькому французскому городку и вдруг замечает странную группу женщин, каждая из них держит в руке пивную кружку, они подбегают, внезапно обращаясь к ней на чешском, смеются с коварной сердечностью, и Ирена в ужасе понимает, что находится в Праге, она вскрикивает, она просыпается.

Мартин, ее муж, видел те же сны. Что ни утро они рассказывали друг другу о пережитом ужасе возвращения в родные края. Потом, из разговора с приятельницей-полькой, тоже эмигранткой, Ирена поняла, что эти сны видели все эмигранты, все без исключения; сперва это ночное братство незнакомых людей трогало ее, затем стало немного раздражать: каким образом столь интимный опыт сновидения может стать коллективным переживанием? В чем же тогда неповторимость ее души? Но к чему вопросы, не знающие ответов?! Одно было ясно: тысячи эмигрантов одной и той же ночью видели один и тот же сон в бесконечных вариантах. Эмигрантский сон: один из самых странных феноменов

второй половины XX столетия.

Эти сны-кошмары были для нее тем более загадочны, что она, страдая необоримой ностальгией, одновременно проживала совершенно иной, противоположный опыт: днем перед ней то и дело возникали пейзажи родной страны. Нет, то не были сознательно вызванные, нескончаемые видения, то было совсем другое: обрывки пейзажей вспыхивали в памяти неожиданно, порывисто, быстро и тотчас угасали. Она беседовала со своим шефом и вдруг, словно в свете молнии, различала тропу, пересекающую поле. Ее толкали в вагоне метро, и внезапно, на долю секунды, перед глазами возникала узкая аллея в зеленом квартале Праги. Целый день эти мимолетные образы посещали ее, чтобы хоть частично восполнить отсутствие утраченной Чехии.

Тот же кинорежиссер подсознания, днем дарующий ей обрывки родного пейзажа как образы счастья, ночью выстраивал сцены жутких возвращений в ту же страну. День был освещен красотой покинутой родины, ночь отягощена ужасом возвращения. День рисовал рай, который она потеряла, ночь – ад, из которого бежала.

Верные традиции Французской революции, коммунистические государства предали анафеме эмиграцию, видя в ней самое отвратительное предательство. Все оставшиеся за границей были в своей стране осуждены заочно, и сограждане опасались любых контактов с ними. Тем не менее суровость анафемы со временем стала ослабевать, и за несколько лет до событий 1989 года мать Ирены, недавно овдовевшая безобидная пенсионерка, получила через государственное турагентство визу для недельной поездки по Италии; в следующем году она решила задержаться на пять дней в Париже и тайно встретиться с дочерью. Взволнованная, исполненная жалости к матери, представлявшейся ей постаревшей, Ирена заказала для нее номер в гостинице и пожертвовала частью отпуска, чтобы неотлучно быть с нею.

– Не так уж плохо ты выглядишь, – сказала мать при первой встрече. Потом, смеясь, добавила: – Впрочем, я тоже. На границе полицейский, проглядев мой паспорт, сказал: «Это фальшивый паспорт, мадам! Тут не ваш год рождения!»

Ирена с первого же взгляда нашла мать такой, какой знала ее всегда, и испытала чувство, что за эти без малого двадцать лет ничего не изменилось. Жалость к постаревшей матери улетучилась. Дочь и мать стояли друг против друга как два существа, не подвластные времени, как две вневременные

субстанции.

Но не дурно ли это, когда дочь не радуется присутствию матери, которая семнадцать лет спустя приехала повидать ее? Ирена призвала всю свою рассудительность, все свои нравственные силы, чтобы вести себя как подобает преданной дочери. Она повела мать обедать в панорамный ресторан Эйфелевой башни; она села с ней на прогулочный катер, чтобы показать Париж вдоль берегов Сены; и так как матери хотелось посетить выставки, она пошла с ней в музей Пикассо. Во втором зале мать задержалась: «У меня подруга – художница. Она подарила мне две картины. Ты не представляешь, до чего они прекрасны!» В третьем зале она изъявила желание увидеть импрессионистов: «В „Же де Пом“ постоянная экспозиция». – «Ее там больше нет, – сказала Ирена. – В „Же де Пом“ нет больше импрессионистов». – «Ну как же, – сказала мать. – Они там, они в „Же де Пом“. Я это знаю и не уеду из Парижа, пока не увижу Ван Гога!» Вместо Ван Гога Ирена предложила ей музей Родена. Стоя перед одной из его скульптур, мать мечтательно вздохнула: «Во Флоренции я видела „Давида“ Микеланджело! Я просто онемела!» – «Послушай, – не выдержала Ирена, – ты со мной в Париже, я показываю тебе Родена. Родена! Ты слышишь, Родена! Ты же никогда не видела его, почему же ты, стоя перед Роденом, думаешь о Микеланджело?»

Вопрос был правомерен: почему мать, встретив дочь после многолетней разлуки, абсолютно не проявляет интереса

к тому, что та показывает ей и что говорит? Почему Микеланджело, увиденный ею с группой чешских туристов, привлекает ее больше Родена? И почему на протяжении этих пяти дней она не задала ей ни единого вопроса? Ни единого вопроса о ее жизни, и более того, ни единого вопроса о Франции, о ее кухне, ее литературе, ее сырах, винах, политике, театрах, фильмах, автомобилях, пианистах, виолончелистах, футболистах?

Вместо этого она без устали болтает о том, что происходит в Праге, о единоутробном брате Ирены (рожденном от недавно умершего второго мужа), о людях, которых Ирена помнит, и о тех, чьи имена она никогда не слыхала. Два или три раза Ирена пыталась заговорить о своей жизни во Франции, но ее слова так и не смогли пробить глухой барьер материнских речей.

Так было с раннего детства: в то время, как мать нежно возилась с сыном, словно с девочкой, к Ирене она проявляла спартанскую жесткость. Хочу ли я этим сказать, что она не любила ее? Что в этом, возможно, повинен отец Ирены, первый муж матери, которого она презирала? Воздержимся от подобной дешевой психологии. Поведение матери было вызвано лучшими намерениями: ее, полную сил и здоровья, тревожило отсутствие у дочери жизнестойкости; своей суровостью она пыталась избавить ее от чрезмерной чувствительности примерно так, как спортсмен-отец бросает в бассейн трусоватого сына, убежденный в том, что нашел луч-

ший способ научить его плавать.

Тем не менее она прекрасно знала, что одно ее присутствие подавляло дочь, и я вовсе не собираюсь отрицать того, что втайне она наслаждалась своим физическим превосходством. Но что с того? Как ей надлежало вести себя? Испариться во имя материнской любви? Неумолимо надвигалась старость, и осознание своей силы, отражавшейся в реакции Ирены, молодило ее. Видя рядом дочь смущенной и подавленной, она по возможности продлевала мгновения своего превосходства. Не без доли садизма она делала вид, что в хрупкости Ирены усматривает приметы равнодушия, лени, небрежности, и осыпала ее упреками.

В присутствии матери Ирена всегда чувствовала себя менее привлекательной и менее умной. Как часто она кидалась к зеркалу, дабы убедиться, что она не уродина, что она не выглядит идиоткой... Ах, все это было так далеко, едва ли не забыто. Но за эти пять дней, что мать провела в Париже, ощущение неполноценности, слабости, зависимости вновь придавило ее.

6

В канун отъезда матери Ирена представила ей своего шведского друга Густава. Втроем они поужинали в ресторане, и мать, не зная ни единого французского слова, смело заговорила по-английски. Густав обрадовался: со своей любовницей он изъяснялся только по-французски, этот язык утомлял его, казался ему претенциозным и малопрактичным. В этот вечер Ирена была немногословна: она с удивлением наблюдала за матерью, обнаружившей неожиданную способность интересоваться кем-то другим; пользуясь тридцатью скверно произнесенными английскими словами, она засыпала Густава вопросами касательно его жизни, его фирмы, его взглядов и тем произвела на него впечатление.

Назавтра мать уехала. Вернувшись из аэропорта в свою квартиру на последнем этаже, Ирена подошла к окну, чтобы насладиться во вновь обретенном покое свободой своего одиночества. Она долго рассматривала крыши, многообразие дымовых труб самых фантастических форм, эту парижскую флору, давно заменившую ей зелень чешских садов, и поняла, как она была счастлива в этом городе. Для нее всегда было очевидно, что ее эмиграция – несчастье. Но в эти мгновения она задавалась вопросом, не было ли все это скорее иллюзией несчастья, иллюзией, внушенной тем, как окружающие воспринимают эмигранта? Не читала ли она собствен-

ную жизнь по инструкции, вложенной в ее руки другими? И она подумала, что ее эмиграция, пусть и навязанная внешними обстоятельствами, вопреки ее воле, была, возможно неосознанно, лучшим выходом для ее жизни. Неумолимые силы истории, посягнувшие на ее свободу, сделали ее свободной.

И потому, несколько недель спустя, она слегка смешалась, когда Густав гордо сообщил ей добрую весть: он предложил своей фирме открыть агентство в Праге. В плане коммерции коммунистические страны были малопривлекательны, агентство будет скромным, и все-таки у него появится повод изредка бывать там.

– Я счастлив, что смогу приобщиться к твоему городу, – сказал он.

Вместо радости она почувствовала что-то вроде смутной угрозы.

– К моему городу? Прага уже не мой город, – ответила она.

– Как так? – опешил он.

Она никогда не утаивала от него своих мыслей, у него была возможность хорошо узнать ее; и все-таки он видел ее точно такой, какой видели ее окружающие: *молодой женщиной-страдальцей, изгнанной из своей страны*. Сам же он родом из шведского города, который искренне презирает и где ноги его больше не будет. Но в его случае это нормально. Ибо окружающие ценят его как *симпатичного скандинава, истинного космополита, уже забывшего, где он родился*.

ся. Оба классифицированы, на каждом ярлык, и по верности своему ярлыку о них судят (и, конечно, именно это и ничто другое выпренно называют «быть верным самому себе»).

– А какой город твой?

– Париж! Здесь я встретила тебя, здесь живу с тобой.

Словно не слыша ее, он погладил ей руку: – Прими это как подарок. Ты не можешь туда ехать. А я послужу тебе связью с твоей утраченной родиной. И тем буду счастлив!

Она не сомневалась в его доброте; поблагодарила его; и все-таки серьезно добавила: – Но прошу тебя понять, что мне вовсе не нужно, чтобы ты служил мне связью с чем бы то ни было. Я счастлива с тобой, а больше ни до чего и ни до кого мне нет дела.

Он тоже стал серьезным: – Понимаю. Не беспокойся, я не собираюсь ворошить твое прошлое. Единственный человек, с кем я увижусь из твоих знакомых, это твоя мать.

Что она могла сказать ему? Что не хочет, чтобы он посещал именно ее мать? Как сказать ему это, когда сам он с такой любовью вспоминает свою покойную матушку?

– Я восхищен твоей матерью. Ее жизнестойкостью!

Ирена не сомневалась в этом. Все восхищаются жизнестойкостью ее матери. Как объяснить Густаву, что в магическом круге материнской силы ей никогда не удавалось управлять собственной жизнью? Как объяснить ему, что постоянное присутствие матери отбрасывало ее назад в ее слабости, в ее незрелость? И что за безумная идея у Густава связать

себя с Прагой!

Лишь дома, оставшись одна, она успокоилась, сказав себе: «Полицейские барьеры между коммунистическими странами и Западом, слава богу, достаточно прочны. Мне нечего опасаться, что контакты Густава с Прагой могут чем-то угрожать мне».

Что? Что она такое сказала себе? «Полицейские барьеры, слава богу, достаточно прочны?» Она и вправду сказала «слава богу»? Это она, эмигрантка, которую все жалеют, потому что она утратила родину, сказала «слава богу»?

Густав познакомился с Мартином случайно, в ходе одной коммерческой сделки. Ирену он встретил гораздо позже, когда та уже овдовела. Они понравились друг другу, но оба были застенчивы. Тут с того света поспешил на помощь супруг и предложил себя в качестве предмета непринужденного разговора. Густав, узнав от Ирены, что они с Мартином ровесники, почувствовал, как рушится стена, разделявшая его с этой женщиной много моложе его, и преисполнился признательной симпатии к покойному, чей возраст поощрял его ухаживания за красивой вдовой.

Он обожал свою покойную мать, терпимо (без восторга) относился к двум уже взрослым дочерям и всячески избегал супруги. Он охотно бы развелся, будь на то обоюдное согласие сторон. Но поскольку это исключалось, он предпринимал все возможное, чтобы держаться подальше от Швеции. У Ирены, как и у него, было две дочери, и обе тоже на пороге самостоятельной жизни. Для старшей Густав приобрел квартирку, младшую устроил в английский интернат, так что Ирена, оставшись одна, могла принимать его у себя.

Она была восхищена его добротой, которую все воспринимали как важнейшее, самое поразительное, почти невероятное свойство его натуры. Этим он очаровывал женщин, лишь с запозданием понимавших, что его доброта была ско-

рее средством защиты, а не обольщения. Любимый маменькин сынок, он не способен был жить в одиночестве, без опеки женщин. Но тем больше ему докучала их требовательность, их споры, их слезы и даже их тела, чересчур ощутимые, чересчур экспансивные. Чтобы сохранять их и при этом ускользать от них, он отстреливался снарядами своей доброты. Укрывшись за дымной завесой взрыва, он отступал.

Сперва его доброта смущала Ирену: почему он так любим, так щедр, так непритязателен? Чем она могла отблагодарить его? Она не нашла иного вознаграждения, чем откровенно выказать ему свое желание. Она устремляла на него широко раскрытые глаза, вожделевшие чего-то неохватного и пьянящего, чему не было имени.

Ее желание; печальная история ее желания. До встречи с Мартином она не извела никаких любовных радостей. Затем родила, беременная вторым ребенком перебралась из Праги во Францию, где Мартин вскоре умер. Пережив долгие трудные годы, вынужденная соглашаться на любую работу – домашней прислуги, сиделки при богатом паралитике, – она сочла величайшей удачей, когда наконец смогла заняться переводами с русского на французский (радуясь тому, что в Праге старательно изучала языки). Шли годы; на афишах, на рекламных щитах, на обложках иллюстрированных журналов, выставленных в киосках, женщины раздевались, пары обнимались, мужчины красовались в плавках, и среди всей этой вездесущей оргии по улицам бродило ее те-

ло, брошенное, невидимое.

Вот почему встреча с Густавом явилась для нее праздником. Спустя столь долгое время ее тело, ее лицо были наконец увидены, оценены, и благодаря их очарованию мужчина предложил разделить с ним жизнь. Как раз в пору этого волшебства в Париж неожиданно заявила ее мать. Но, возможно, именно тогда или чуть позже она стала смутно подозревать, что ее тело не совсем избежало судьбы, очевидно, раз и навсегда ему уготованной. Что Густав, ускользавший от своей супруги, от своих женщин, искал в близости с ней не приключение, не вторую молодость, не свободу чувств, а покой. Не станем преувеличивать, ее тело не оставалось нетронутым, но в ней росло подозрение, что трогают его меньше, чем оно того заслуживало.

8

Коммунизм в Европе угас ровно два столетия спустя после того, как вспыхнуло пламя Французской революции. Для Сильвии, парижской подруги Ирены, это совпадение было исполнено смысла. Но какого, собственно, смысла? Как назвать триумфальную арку, перекинутую между этими двумя величественными датами? *Аркой двух Величайших Европейских Революций?* Или *Аркой, объединяющей Величайшую Революцию с Конечной Реставрацией?* Во избежание идеологических диспутов я предлагаю воспользоваться более скромным толкованием: первая дата произвела на свет великий европейский персонаж – Эмигранта (Великого Предателя или Великого Страдальца, как угодно); вторая – удалила Эмигранта со сцены европейской истории; в то же время великий кинорежиссер коллективного подсознания положил конец одному из самых оригинальных своих творений: эмигрантским снам. Именно тогда состоялось первое, длившееся несколько дней возвращение Ирены в Прагу.

Когда она уезжала, было очень холодно, но потом, через три дня, внезапно, неожиданно, до времени пришло лето. Ее костюм, слишком плотный, оказался неприемлемым. Она не привезла с собой ничего легкого и потому отправилась в butik купить себе платье. Страна еще не была наводнена западными товарами, и Ирена обнаружила те же ткани, те же рас-

цветки, те же фасоны, что были знакомы ей с коммунистической поры. Но, примерив два или три платья, она смешалась. И трудно сказать почему: платья не были безобразны, и покрой был неплох, но они напоминали ей далекое прошлое, строгость одежды ее молодости, они выглядели наивными, провинциальными, неэлегантными, подходящими разве что для сельской учительницы. Но Ирена торопилась. В конце концов, что с того, если сколько-то дней она будет похожа на сельскую учительницу? Она купила платье за смехотворную цену и, уже не снимая его, сунула зимний костюм в сумку и вышла на знойную улицу.

Затем, проходя по большому универмагу, она неожиданно оказалась перед огромным, во всю стену, зеркалом и застыла в изумлении: та, кого она видела перед собой, была не она, это была другая, однако, внимательнее приглядевшись к себе в новом платье, она поняла, что это она, но живущая иной жизнью, той, какая ожидала бы ее, останься она на родине. Ничего отталкивающего в этой женщине не было, она выглядела даже трогательной, но трогательной немного чересчур, трогательной до слез, жалкой, убогой, слабой, покорной.

Ею овладела та же паника, какую испытывала она в своих эмигрантских снах: благодаря магической силе платья она увидела себя узницей жизни, которой не желала и от которой уже не в силах была избавиться. Словно давным-давно, в начале ее взрослой жизни, перед ней открывались несколько возможных жизней, из которых она в конце концов выбрала

ту, что привела ее во Францию. И словно все прочие жизни, ею отвергнутые и покинутые, всегда оставались начеку и ревниво подстерегали ее из своих укрытий. Одна из них завладела сейчас Иреной и заключила ее в новое платье, точно в смирительную рубашку.

В ужасе она кинулась к Густаву (в центре города у него было временное пристанище) и переделась. Облачившись в свой зимний костюм, она посмотрела в окно. Небо было затянуто облаками, деревья гнулись под напором ветра. Жара длилась всего несколько часов. Несколько часов жары, чтобы сыграть с ней кошмарную шутку, рассказать ей об ужасе возвращения.

(Сон ли это? Последний эмигрантский сон? Нет, все было наяву. И все же ее не покидало чувство, что ловушки, о которых когда-то говорили ей сны, не исчезли, что они постоянно здесь, всегда начеку, подстерегая ее шаги.)

9

Все двадцать лет, пока Одиссей отсутствовал, жители Итаки хранили о нем немало воспоминаний, но при этом не испытывали никакой ностальгии. В то время как сам Одиссей мучился ностальгией и почти ни о чем не вспоминал.

Нетрудно понять это странное противоречие, если учесть, что для нормальной работы памяти требуется постоянная тренировка: если вновь и вновь в дружеских беседах не предаваться воспоминаниям, они угасают. Эмигранты на собраниях своих землячеств до тошноты пересказывают одни и те же истории, благодаря чему они становятся незабываемыми. Но те, кто не общается с земляками, подобно Ирене или Одиссею, неизбежно обречены на беспамятство. Чем сильнее их ностальгия, тем она свободней от воспоминаний. Чем больше Одиссей томился, тем больше он забывал. Ибо ностальгия не улучшает работу памяти, не пробуждает воспоминаний, она довольствуется самой собой, целиком поглощенная своим единственным страданием.

Перебив смельчаков, мечтавших сочетаться браком с Пенелопой и властвовать над Итакой, Одиссей вынужден был жить среди людей, о которых ничего не знал. А они, стремясь польстить ему, пережевывали все, что помнили о нем до его ухода на войну. И, убежденные, что ничем, кроме своей Итаки, он не интересуется (да и можно ли было думать иначе,

коли он пересек бескрайние морские просторы, чтобы вернуться?), они на все лады расписывали то, что происходило в его отсутствие, и готовы были ответить на любой его вопрос. Ничто не досаждало ему больше этого. Он ждал одного: чтобы наконец они попросили его: «Рассказывай!» Но это слово было единственным, которого они так и не произнесли.

Двадцать лет он только и думал о своем возвращении. Но, вернувшись, он с удивлением обнаружил, что его жизнь, сама суть его жизни, ее сердцевина, ее сокровище находились за пределами Итаки, в том двадцатилетии его скитаний. И это сокровище он утратил и может его обрести, лишь рассказывая о нем.

Покинув Калипсо, он на возвратном пути потерпел кораблекрушение у берегов Феакии, где царь призвал его ко двору. Там он был чужестранцем, таинственным незнакомцем. А незнакомцев спрашивают: «Кто ты? Откуда путь держишь? Рассказывай!» И он рассказывал. На протяжении четырех долгих песен «Одиссеи» он во всех подробностях описывал потрясенным феакийцам свои приключения. Но в Итаке он не был чужестранцем, он был одним из своих, и потому никому и в голову не приходило попросить его: «Рассказывай!»

Она пролистала свои прежние адресные книжки, подолгу задерживаясь у полузабытых имен; потом заказала отдельный зал в ресторане. На длинном столе, придвинутом к стене, возле тарелок с птифурами ждут, расставленные в ряд, двенадцать бутылок. В Чехии не пьют хорошего вина и нет обычая хранить старые марочные вина. С тем большим удовольствием она купила выдержанное бордо: хотела удивить своих гостей, устроить им праздник, вновь завоевать их дружбу.

Она едва все не загубила. Смущенные подруги долго разглядывают бутылки, наконец одна из них, уверенная в себе и гордая своей неприхотливостью, заявляет, что предпочитает пиво. Приободренные этим искренним признанием, остальные согласно кивают, и любительница пива подзывает официанта.

Ирена корит себя за свою ошибку с этим ящиком бордо; за то, что глупо высветила все, что их разделяет: ее долгое отсутствие, привычки чужестранки, недостаток. Корит себя тем больше, что придает такое значение этой встрече: ей хочется наконец понять, сможет ли она жить здесь, чувствовать себя дома, иметь здесь друзей. Вот почему она не позволяет себе обижаться на это легкое хамство, она даже готова видеть в нем симпатичную откровенность; а впрочем, не явля-

ется ли пиво, которому гости отдали предпочтение, святым напитком искренности? зельем, рассеивающим любое лицемерие, любую комедию хороших манер? побуждающим своих любителей всего лишь невинно мочиться, простодушно толстеть? В самом деле, женщины вокруг нее добросердечно толстые, они болтают без умолку, сыплют дельными советами, не нахвалятся Густавом, о существовании которого всем известно.

Между тем в дверях появляется официант с десятью полуплитровыми кружками пива, по пять в каждой руке, этот поистине атлетический подвиг вызывает смех и аплодисменты. Гости поднимают кружки и чокаются: «За здоровье Ирены! За здоровье блудной дочери!»

Глотнув пива, Ирена подумала: а предложи им вина Густав? Они бы тоже отказались? Конечно нет. Отвергнув вино, они, по существу, отвергли ее. Ее такую, какой она вернулась столько лет спустя.

А ведь именно это поставлено на карту: чтобы они приняли ее такой, какой она вернулась. Она уехала молодой наивной женщиной, а возвращается зрелой, позади нее целая жизнь, трудная жизнь, которой она гордится. Она готова сделать все, чтобы они приняли ее теперешнюю, с ее опытом последних двадцати лет, с ее убеждениями, ее идеями; одно из двух: или она сумеет быть среди них такой, какой стала, или не останется здесь. Она задумала эту встречу как исходную точку своего наступления. Пусть пьют свое пиво, коли они

так упорствуют, это ее несколько не волнует, для нее важно самой выбрать тему разговора и заставить себя слушать.

А время идет, женщины тараторят наперебой, и почти нет возможности завести разговор и тем более навязать ему определенное содержание. Она деликатно пытается подхватить темы, которые они затрагивают, и повернуть их в нужном ей направлении, но безуспешно: как только ее реплики удаляются от их интересов, ее никто не слушает.

Официант уже принес всем по второй порции пива; на столе все еще стоит ее первая кружка с осевшей пеной, словно обесчещенная буйной пеной новой кружки. Ирена попрекает себя, что утратила вкус к пиву; во Франции она приучилась смаковать напитки маленькими глотками и отвыкла потреблять жидкости в большом количестве, как того требует любовь к пиву. Она подносит к губам кружку и силится сделать два-три больших глотка кряду. Тут самая старшая из собравшихся, женщина под шестьдесят, ласково касается рукой ее губ, чтобы стереть с них остатки пены.

– Не насилуй себя, – говорит она. – А что, если нам всем выпить вина? Глупо было бы прозевать такое отличное вино. – И она просит официанта откупорить одну из нетронутых бутылок на длинном столе.

Милада была коллегой Мартина, они работали в одном институте. Как только она появилась в дверях зала, Ирена сразу же узнала ее, но лишь сейчас, когда они обе держат по бокалу вина, она может поговорить с ней; она разглядывает ее: очерк лица все тот же (круглый), те же темные волосы, та же прическа (тоже закругленная, пряди, прикрывая уши, падают ниже подбородка). Впечатление такое, будто она не изменилась; но стоит ей заговорить, лицо тотчас преобразается: кожа то и дело морщится, верхняя губа испещряется тонкими вертикальными черточками, меж тем как морщины на щеках и подбородке при каждом изменении мимики мгновенно смещаются. Ирене приходит мысль, что Милада наверняка не подозревает об этом: ведь никто не разговаривает сам с собой перед зеркалом; стало быть, она знает свое лицо только неподвижным, с почти гладкой кожей; все зеркала мира убеждают ее, что она неизменно красива.

Смакуя вино, Милада говорит (на ее красивом лице вмиг появляются морщины и пускаются в пляс): – Нелегкая штука возвращение, правда?

– Они не могут понять, что мы уезжали без малейшей надежды на возвращение. Изо всех сил мы старались прижиться там, где мы оказались. Ты знаешь Скацела?

– Поэта?

– В одном из четверостиший он говорит о своей печали, о том, что он хотел бы построить из нее дом и запереться в нем на целых триста лет. Триста лет. Все мы видели перед собой тоннель длиною в триста лет.

– Конечно, и мы здесь тоже.

– Тогда почему они не хотят больше знать об этом?

– Потому что люди подправляют свои чувства, если чувства оказались ошибочными. Если история опровергла их.

– И еще: все думают, что мы уехали в поисках легкой жизни. Где им понять, как трудно заполучить для себя местечко на чужбине. Ты представляешь, каково покидать страну с одним малышом на руках и другим в животе. И потерять мужа. В нищете растить двух дочерей...

Она умолкает, и Милада говорит: – Какой смысл рассказывать им про все это. Еще недавно все препирались, каждый хотел доказать, что он пострадал больше других от прежнего режима. Все хотели выглядеть жертвами. Но эти состязания в страданиях кончились. Нынче бахвалятся успехами, но не страданиями. Если и будут тебя уважать, то не из-за твоей трудной жизни, а потому, что видят тебя рядом с богатым человеком!

Они уже долго беседуют в углу комнаты, когда к ним приближаются остальные женщины и окружают их. Словно укоряя себя за то, что мало уделяли внимания своей хозяйке, они становятся говорливыми (пивное опьянение делает человека более шумным и добродушным, нежели винное) и

ласковыми. Женщина, потребовавшая в начале их встречи пива, восклицает: «А все-таки надо отведать твоего вина!» и подзывает официанта, который откупоривает новые бутылки и наполняет бокалы.

Ирена поражена внезапным видением: держа в руках пивные кружки и громко смеясь, к ней подбегает группа женщин, она улавливает чешскую речь и в ужасе понимает, что она не во Франции, а в Праге и что она погибла. Ах да, это один из старых эмигрантских снов, который она тотчас изгоняет из памяти: эти женщины вокруг нее уже не пьют пива, они поднимают бокалы с вином и чокаются еще раз в честь блудной дочери; потом одна из них, сияя, говорит ей: «А помнишь, я писала тебе, что самое время, самое время тебе вернуться!»

Кто эта женщина? Весь вечер она не уставала говорить о болезни мужа, возбужденно останавливаясь на всех патологических подробностях. Наконец Ирена узнает ее: это одноклассница, в первые же дни после падения коммунизма написавшая ей: «Ах, дорогая, мы уже немолоды! Самое время тебе вернуться!» Она еще раз повторяет эту фразу, и широкая улыбка на ее располневшем лице обнажает вставную челюсть.

Остальные женщины забрасывают ее вопросами: «Ирена, ты помнишь, когда...» – И: «Ты знаешь, что случилось тогда с?...» – «Да нет, ты все-таки должна вспомнить его!» – «Тот тип с большими ушами, ты вечно потешалась над ним!» –

«Да не может быть, чтобы ты забыла его! Он только о тебе и говорит!»

До этой минуты их ничуть не занимало, что она пыталась рассказать им. Что означает этот неожиданный натиск? Что хотят узнать они, ничего не желавшие слушать? Она быстро понимает, что их вопросы не без умысла: вопросы, дабы проверить, знает ли она то, что знают они, помнит ли она то, что помнят они. Это производит на нее странное впечатление, которое больше уже не покинет ее.

Поначалу своим полным безразличием к ее жизни за границей они отняли у нее двадцать лет. Теперь этим допросом они пытаются соединить ее давнее прошлое с ее настоящей жизнью. Как если бы они ампутировали ее предплечье и кисть прикрепили прямо к локтю; как если бы они ампутировали голени и ступни приставили прямо к коленям.

Ошеломленная этим образом, она не в состоянии отвечать на их вопросы; впрочем, женщины и не рассчитывают на это и, пьянея все более, вновь принимают за свою болтовню, в которой для Ирены нет места. Она видит рты, которые одновременно открываются, рты, которые двигаются, выдают слова и без конца взрываются смехом (уму непостижимо: как женщины могут смеяться сказанному, не слушая друг друга?). Никто больше не заговаривает с Иреной, но все излучают хорошее настроение, женщина, заказавшая в самом начале пива, принимается петь, остальные подхватывают, а когда вечер кончается, продолжают петь и на улице.

Уже в постели она перебирает в памяти события вечера; вновь возникает перед ней эмигрантский сон: она видит себя в окружении шумных и сердечных женщин, поднимающих пивные кружки. В ее сне они состояли на службе у тайной полиции и призваны были заманить ее в ловушку. Но у кого на службе они теперь? «Самое время тебе вернуться», – сказала ей бывшая одноклассница со скелетоподобной вставной челюстью. Ей, посланнице кладбищ (кладбищ отечества), было поручено призвать ее к порядку: предостеречь, что время не терпит и что жизнь должна завершаться там, где она началась.

Затем мысль обращается к Миладе, проявившей такое материнское дружелюбие; та дала ей понять, что больше никто не интересуется ее одиссеей, и Ирена про себя отмечает, что и сама Милада, впрочем, не больше других проявила к тому интерес. Но можно ли попрекать ее за это? К чему ей интересоваться тем, что не имеет никакого отношения к ее собственной жизни? Это была бы всего лишь комедия вежливости, и Ирена счастлива, что Милада была так любезна, не ломая при этом комедии.

Последняя ее мысль перед тем, как заснуть, была о Сильвии. Как давно она не виделась с ней! Ей не хватает Сильвии. Ирена хотела бы пригласить ее в бистро и рассказать о своих последних поездках в Чехию. Объяснить ей всю сложность возвращения. Кстати, ты ведь первая, мысленно обращается она к ней, кто произнес эти слова: Великое Возвращение. И

знаешь, Сильвия, сегодня я поняла: я снова смогла бы жить среди них, но при условии, что все пережитое с тобой, с вами, с французами, я торжественно возложу на алтарь отечества и предам огню. Двадцать лет жизни, проведенных на чужбине, изойдут дымом в ходе сакрального действия. И женщины будут петь и танцевать со мной вокруг огня, высоко поднимая пивные кружки. Такова плата за то, чтобы меня простили. За то, чтобы меня приняли. За то, чтобы я снова стала одной из них.

12

Однажды в парижском аэропорту, пройдя полицейский контроль, она направилась в зал ожидания. На скамье напротив она увидела мужчину и, после двух-трех секунд неуверенности и удивления, узнала его. Взволнованная, дождалась момента, когда их взгляды встретились, и улыбнулась. Он тоже улыбнулся и слегка кивнул. Она встала и пошла к нему, встал и он.

– Мы познакомились в Праге, не так ли? – сказала она по-чешски. – Ты еще помнишь меня?

– Конечно.

– Я тебя сразу узнала. Ты ничуть не изменился.

– Преувеличиваешь.

– Нет, нет. Ты все такой же, как раньше. Бог мой, все это так далеко. – Потом, смеясь: – Я тебе очень благодарна, что ты узнал меня! – И потом: – Ты все это время оставался в стране?

– Нет.

– Эмигрировал?

– Да.

– И где же ты жил? Во Франции?

– Нет.

Она вздохнула: – О, если бы ты жил во Франции и мы бы встретились только сегодня...

– Я еду через Париж по чистой случайности. Живу в Дании. А ты?

– Здесь, в Париже. Бог мой. Даже глазам не могу поверить. Как ты жил все эти годы? Тебе удалось работать по специальности?

– Да. А тебе?

– Я перепробовала не менее семи.

– Я не спрашиваю, сколько у тебя было мужчин.

– И не спрашивай. Что до меня, обещаю тоже не задавать тебе подобного рода вопросов.

– А сейчас? Ты вернулась?

– Не совсем. У меня все еще квартира в Париже. А ты?

– И я не вернулся.

– Но ты часто едешь туда.

– Вовсе нет. Это впервые, – сказал он.

– Спустил столько времени! Не очень-то ты торопился!

– Нет.

– В Чехии у тебя никаких обязательств?

– Я человек абсолютно свободный.

Он произнес это медленно, с определенной долей меланхолии, не ускользнувшей от нее.

В самолете ее место было впереди у прохода, и она не раз поворачивала голову, чтобы взглянуть на него. Она не забыла их давней встречи. Произошло это в Праге, она с несколькими друзьями была в каком-то баре, а он, друг ее друзей, не спускал с нее глаз. История их любви оборвалась прежде,

чем началась. Она сожалела об этом, рана так и не затянулась.

Он дважды подходил к ней и, опершись о кресло, продолжал разговор. Она узнала, что в Чехии он проведет три или четыре дня, причем в провинциальном городке, чтобы повидать родных. Она погрузнела. Неужто ни одного дня он не пробудет в Праге? Отчего же, возможно, один или два дня перед возвращением в Данию. Можно ли будет увидеться с ним? Так приятно будет вновь встретиться! Он назвал ей гостиницу в провинции, где остановится.

Он тоже обрадовался этой встрече; она была дружелюбна, кокетлива, мила, в свои сорок красива, но он и понятия не имел, кто она. Неловко кому-то говорить, что не помнишь его, а на сей раз это было неловко вдвойне, ибо, быть может, он вовсе не забыл ее, а просто не узнавал. А признаться в этом женщине было бы неучтивостью, ему не свойственной. К тому же он очень быстро понял, что незнакомка не собирается выяснять, помнит ли он ее или нет, и что нет ничего проще, чем болтать с нею. Но когда они договорились встретиться и она захотела дать ему номер своего телефона, он смутился: как звонить тому, чьего имени он не знает? Ничего не объясняя, он сказал, что предпочел бы, чтобы она сама позвонила ему, и попросил записать телефон его гостиницы в провинции.

В пражском аэропорту они расстались. Взяв напрокат машину, он поехал по автостраде, затем по окружному шоссе. Прибыв в город, стал искать кладбище. Тщетно. Он очутился в новом квартале однотипных многоэтажек, это сбило его с толку. Приметив мальчика лет десяти, остановил машину и спросил, как доехать до кладбища. Мальчик, посмотрев на него, промолчал. Думая, что он не понимает его, Йозеф повторил вопрос медленнее, громче, точно иностранец, старающийся отчетливо выговаривать слова. Наконец мальчик

ответил, что не знает. Но как, черт подери, можно не знать, где находится кладбище, единственное в городе? Он покатил дальше, спросил еще нескольких прохожих, но их объяснения показались ему маловразумительными. В конце концов кладбище он нашел: зажатое позади недавно построенного виадука, оно выглядело неброско и гораздо меньше прежнего.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.